# В знойный день. Идиллия

***Тамуза солнце средь неба недвижно стоит, изливая
Света и блеска поток на поля и сады Украины.
Море огня разлилось — и отблески, отсветы, искры
Перебегают вокруг улыбчиво, быстро, воздушно.
Вот — засияли на маке, на крылышках бабочки пестрой…
Там комары заплясали над зеркалом лужицы. С ними
В солнечном блеске танцует стрекоз веселое племя.
В зелень густую листвы и в черные борозды поля —
Всюду проникли лучи; вон там проскользнули по струйке,
Что с лепетаньем проворным бежит по земле золотистой.
Луч ни один не вернулся туда, откуда пришел он,
И ни за что не вернется. Так шаловливые дети
Мчатся от матери прочь — и прячутся; их и не сыщешь.
Поле впитало в себя осколки разбрызганных светов,
Бережно спрятало их в плодоносное, теплое лоно.
Завязи, почки, побеги впитали их в клеточки жадно,
После ж, когда миновала пора изумрудная листьев,
Поле и нива наружу извергли хранимые светы;
Луч поднялся из земли, и зернами сделались искры, —
Зернами ржи усатой, налившейся грузно пшеницы
И ячменя. И всплеснулось золото нижнее к небу,
С золотом верхним слилось, — и со светами встретились светы.
Зной превратился в удушье. Уж нет ни души на базарах,
Улицы все в деревнях опустели, и солнце не властно
Там лишь, где сыщется угол, сокрытый от этой напасти
Ставнем иль выступом крыши… И угол такой отыскался.
Есть на деревне тюрьма. Она ж — волостное правленье.
Ежели к ней подойдете вы с северо-запада — тут-то,
Возле тюремной стены, и будет укромный сей угол.
Трое в полуденный час собрались у стены благодатной.
Первый был Мойше-Арон, что Жареным прозван в деревне.
Случай с ним вышел такой, что дом у него загорелся
В самый тот час, как поспать прилег он на крышу. Спастись-то
Спасся, конечно, он сам, но обжегся порядком… Все лето
Занят своей он работой, работа же его — по малярной
Части. А в зимнее время он дома сидит, голодая…
Кто же были двое других, сидевших с Мойшей у стенки?
Васька-шатун, конокрад, и Иохим — волостного правленья,
То бишь тюрьмы, охранитель и страж. (В просторечье кутузкой
Эту тюрьму мужики называют.) А должность такую
Занял Иохим потому, что был хром. А хромым он вернулся
После кампании крымской… Зачем же судьба их столкнула
Здесь, у стены? А затем, что давно старики замечали:
Ставни в кутузке совсем прогнили от долгой работы.
Ну, заявили на сходе, что надо бы дело обдумать:
Может, давно пора еврея позвать да покрасить?
Спорили долго; но сходу выставил Жареный водки —
И порешили все дело, с Мойшей подряд заключивши.
Вот и стоял он теперь и ставень за ставнем, потея,
Красил, пестрил, расцвечал. Мазнет, попыхтит — да и дальше.
Мойше был мастер известный: уж если за что он возьмется,
Плохо не сделает, нет, и в грязь лицом не ударит.
Ловко покрасил он ставни: медянкойй разделал, медянкой!
Доски с обеих сторон покрасил, внутри и снаружи.
В центре же каждой доски он сделал по красному кругу:
Сурику, сурику брал! Себе убыток, ей-Богу!
И расходились от центра лучи, расширяясь снаружи:
Желтый, и синий, и желтый, и синий опять — и так дальше.
В круге ж чудесный цветок малевал он; уж право — такого
Просто нигде не сыскать: три чашечки тут распускались
Из белоснежного стебля, а в чашечке — вроде решетки —
Клеточки красные шли вперемежку с желтыми. Чудо!
Право, бессильны уста, чтоб выразить все восхищенье!
Видели их мужики — и стояли, и диву давались,
И головами качали: «Ну — Жареный! Ну — и работа!»
Но не закончил еще маляр многотрудной работы.
Гои же рядом сидели, для крыс капкан мастерили.
(Крысы под самой кутузкой огромным жили селеньем,
Днем выбегали наружу и под ноги людям кидались,
Всех повергая в смущенье, а женщин так даже и в ужас.)
Васька с Иохимом сидел, в работе ему помогая:
В этакий зной не до правил, так вышел и он из кутузки,
Чтобы в приятной прохладе беседою сердце потешить.
Вот и рассказывал он про то, как грех приключился,
Как он в кутузку попал за веревку, найденную в поле.
(Пусть уж простил меня Васька: забыл он, что к этой веревке
Конь был привязан тогда, и конь чужой, а не Васькин.)
«Так-то вот, все за веревку», печалился Васька. И был он
Пойман, и к долгой отсидке начальство его присудило.
Заняты делом своим, собеседники мирно сидели.
Клетку из прутьев железных Иохим устроил, внутри же
Прочный приделал крючок для того, чтобы вешать приманку.
Вдруг услыхали они на улице легкую поступь.
Тамуза солнце, пылая, стояло средь неба.
Рынок давно опустел, и улицы были безлюдны.
Кто бы, казалось, тут мог проходить в неурочное время?
Головы все повернули, идущего видеть желая.
Васька, замолкнувши разом, прищурил пронырливый глаз свой,
Мойше-Арон непоспешно в ведерко кисть опускает,
Медленно сторож Иохим капканчик поставил на землю,
Бороду важно разгладил, откашлялся — и вытирает
Черную, потную шею… И все удивились немало,
Старого Симху завидев. Согбенный, с обвязанной шеей,
Спрятавши обе руки в рукава атласной капоты,
Книгу под мышкой зажав, торопливо, легкой походкой
Симха идет. Увидав их, старик улыбнулся, подходит;
Вот — поклонился он всем и беседует с Мойшей-Ароном.
«Ближе, реб Симха, — прошу. Что значит такая прогулка?
Маане-лошон, я вижу, под мышкой у вас». — «Я от сына.
Велвелэ, сын мой, скончался». — «Господа суд справедливый
Благословен!.. Но когда ж? Ничего я про это не слышал». —
Горестно Симха вздохнул и речь свою так начинает:
— Дети мои, слава Богу, как все во Израиле дети:
Все, как ты знаешь, реб Мойше, и Богу, и людям угодны:
Умные головы очень, ну прямо разумники вышли.
Вырастить их, воспитать — немало мне было заботы,
Ну, а как на ноги стали — каждый своею дорогой
Все разбрелись. И заботу о них я труднейшей заботой
В жизни считал. Ведь всегда человек, размышляя о жизни,
Преувеличить готов одно, преуменьшить другое.
Так-то вот выросли дети, и нужно признаться — удачно:
Вовремя каждый родился, и вовремя резались зубки,
Вовремя ползали все, потом ходить научились,
Глядь — уже к хедеру время, и все по велению Божью:
Брат перед братом ни в чем не имел отличия. В зыбку
Нынче ложился один, а чрез год иль немного поболе
Место свое уступал он другому, рожденному мною
Также для участи доброй. Но Велвелэ, младший, родился
Поздно, когда уж детей я больше иметь и не думал.
Был он поскребыш, и трудно дались его матери роды.
Братьев крупнее он был, и когда на свет появился,
Радость мой дом озарила, ибо заполнился миньян.
Был он немного крикун, да таков уж детишек обычай.
Только что стал он ходить, едва говорить научился,
Сразу же стало нам ясно, что вышел умом он не в братьев.
Трудно далась ему речь, а в грамоте, как говорится,
Шел он, на каждом шагу спотыкаясь. Какою-то блажью
Был он охвачен, как видно. Все жил он в каких-то мечтаньях,
Вечно сидел по углам, глаза удивленно раскрывши…
Сад по ночам он любил, замолкнувший, тихий… Бывало,
Встанет раненько, чтоб солнце увидеть, всходящее в росах;
Вечером станет вот эдак — и смотрит, забывши про минху:
Смотрит на пламя заката, на солнце, что медленно меркнет,
Смотрит на брызги огня, на луч, что дрожит, умирая…
Нужно, положим, признать: прекрасно полночное небо, —
Только какая в нем польза? Порою же бегал он в поле.
«Велвелэ, дурень, куда?» — «Васильки посмотреть. Голубые
Это цветочки такие, во ржи, красивые очень.
Век их недолог, и только проворный достоин их видеть».
«Это откуда ты знаешь?» — «От Ваньки с Тимошкой, от гоев
Маленьких». — Часто бывало, что явится глупости демон,
Велвелэ гонит под дождь, на улицах шлепать по лужам,
Глядя, как капли дождя в широкие падают лужи,
Гвоздикам тонким подобны, что к небу торчат остриями.
Стал он какой-то блажной. В одну из ночей, что зовутся
Здесь воробьиными, многих ремней удостоился дурень,
Так что в великих слезах на своей растянулся кровати.
Был он и сам — ну точь в точь воробей, что нахохлился в страхе.
Так вот глазами и пил за молнией молнью, что рвали
Темное небо на части… Но сердце… Что было за сердце!
Чистое золото, право. Бывало и пальцем не тронет
Он никого. Не обидит и мухи. Детишки, конечно,
Часто дразнили его, называли Велвелэ-дурень, —
Да и другими словами обидными: он не сердился,
Горечи не было вовсе у мальчика в ласковом сердце.
Как он любил все живое! Кормил воробьев: ежедневно
Стаей огромной к нему слетались они на рассвете,
Зерна и крошки клевали из рук у него. И бывало —
Сам не успеет поесть, — а псов дворовых накормит.
Пищей с пятнистым котом он делился, был пойман однажды
В том, что таскал молоко окотившейся кошке. Но больше,
Больше всего он любил голубей. Голубятню устроил
И пострадал за нее многократно: ремней, колотушек
Стоило это ему, — и других наказаний. Скажите:
Кто ж это видел когда, — чтоб еврей с голубями возился?
Но устоял он во всем, — и рукой на него мы махнули.
Делал он все, что хотел, и вскоре наполнили двор наш
Голуби всяких сортов и пород. Деревенским мальчишкой
Был я когда-то и сам, но понять не могу я, откуда
Он это все разузнал. И что же ты думаешь, Мойше?
Он и меня научил различать голубей по породам!
Знал их малыш наизусть; вот это «египетский» голубь,
Это «отшельник», а там — «генерал» с раздувшимся зобом
Выпятил грудь; вот «павлин» горделиво хвост распускает;
Там синеватой косицей чванятся горлицы; «турман»
Встретился здесь с «великаном»; там парочки «негров» и «римлян»
Крутят в сторонке любовь, и к ним подлетает «жемчужный»;
Там вон — «монахи»-птенцы, «итальянцы», «швейцарцы», «сирийцы»…
Старец младенцу подобен: уже серебрился мой волос,
Я же учился у сына и стал голубятник заправский…
Вскоре за книги пророков уселся Велвелэ. Мальчик
В сны наяву погрузился. Что в хедере слышит, бывало,
То ему чудится всюду. Пришли на деревню цыгане,
Просто сказать — кузнецы: так он в них увидел египтян.
В поле увидит снопы — снопами Иосифа мнит их;
Спрашивал часто: где рай, где Урим и Тумим, и где же
Первосвященник? Весной, в половодье, все Чермное море
Чудилось мальчику. Холмик — Синаем ему представлялся.
К Ерусалиму дорогу искал он. И понял меламед,
Что недоступен Таммуд его голове — и довольно,
Если он будет хороший еврей. Повседневным молитвам
Велвелэ он обучил и внушил ему страх перед Богом, —
Переменился наш мальчик. Всем сердцем к Творцу прилепился,
Строго посты соблюдал, подолгу молился, как старый,
Даже прикрикивать стал на меня и на братьев: мы, дескать,
Грешники. Мы же его пинками молчать заставляли,
Злили его и дразнили обидными кличками часто:
Цадиком звали, раввином, святошей, Господним жандармом.
Мальчик с тринадцати лет у нас начинает работать.
Начал и Велвелэ наш приучаться к торговому делу, —
Но не затем он был создан. Ты сам все знаешь, реб Мойше:
С самых с тех пор, как пошли с «чертою» строгости, — землю
Нам покупать запретили, и мы превратились в торговцев.
Жизнь, конкуренций, гнет на обман толкают еврея.
Чем прокормиться в деревне? Лишь тем, что пальцем надавишь
На коромысло весов, чтоб чашка склонилась, иль каплю
Где не дольешь в бутылку… Так мальчик, бывало, не может:
«Что говорится в законе? А суд небесный? Забыли?»
«Что ж», отвечаем ему, — «ступай и кричи «хай векайом».
Он же заладил — «обман!» — И рукой на него мы махнули:
«Пусть возвращается к книгам! При нем невозможно работать».
Стянет, бывало, мужик что плохо лежит — и притащит.
Можно б на этом нажить — да гляди, чтоб малыш не заметил.
Прятались мы он него, как от стражника, честное слово!..
В Пурим гостил у меня мешулох один Палестинский —
Плотный, румяный еврей, с брюшком, с большой бородою.
Сыпался жемчуг из уст у него, когда говорил он.
Дети мои разошлись, уставши за трапезой общей.
Все по углам разбрелись: тот дремлет, сидя на стуле,
Тот на постель повалился, дневным трудом утомленный,
Я же остался при госте, и много чудес рассказал он
О патриарших гробницах, о том, как люди над прахом
Западной плачут стены, и как всенародно справляют
Празднество сына Йохаи… И слушать его не устанешь.
Велвелэ рядом сидел… глаза у него разгорелись,
Взор, как железо к магниту, стремился к редкому гостю.
Каждой слово ловя, до поздней ночи сидел он
И уходить не хотел. Когда же на утро уехал
Этот мешулох от нас, наш Велвелэ с ним не простился.
Думали мы: «Неизвестно, кого он еще теперь кормит».
Зная все шутки его, все бредни, мы были спокойны.
Но и обеденный час миновал, — а Велвелэ нету.
Страшно мне стало за сына. Искали, искали — исчез он,
Точно в колодец упал. Спросили соседей: быть может,
Видели мальчика? Нет… Под вечер его на дороге
Встретил знакомый один и привел. От стужи дрожал он.
В эту же ночь запылал малыш, в жару заметался,
Плакал, что больно в боку, — а сам все таял и таял…
Только три дня — и готов. Уж после все объяснилось.
Мальчик ни больше, ни меньше, как сам идти в Палестину
Вздумал — и стал старика у околицы ждать. Ну, мешулох
С ним пошутил и немного подвез его по дороге.
Что же? с телеги сойдя, заупрямился мальчик и вздумал
Дальше идти хоть пешком — и отправился по снегу, в стужу.
Встретил крестьянин его — и привел. Конечно, мы знали,
Что простоват мальчуган, но и прежде казалось нам также,
Что не от мира сего он вышел и в нашем семействе
Гостем он был необычным… Но что за душа золотая!
Умер — и нет уж ее, и дом опустел, омрачился.
Пусто сегодня на рынке, и вот я подумал: зайду-ка
Велвелэ-дурня проведать. Небось, по отце стосковался.
Мимо кладбища, где гои лежат, проходил я и видел:
Все оно тонет в цветах, над могилами ивы склонились.
И одурел я совсем, реб Мойше: взял да и бросил
Сыну цветок на могилку: ведь как он любил, как любил их! —
Симха вздохнул и умолк. Сидел и Жареный молча…
«Ну, брат Василий, — в кутузку! — сказал Иохим: — Подымайся.
Писарь, того и гляди, придет. Не след арестанту
Лясы точить на дворе… Да дверь за собою пркрой-ка!»
Тамуза солнце недвижно стояло средь синего неба.
Море огня разлились… Все искрится, блещет, сияет…***